## Духарики и Лбы

# Сергей Снегов

Я, конечно, духариком не был. Для этого у меня не хватало ярости, того уважаемого в лагере ухарства, когда жизнь ставится ни против чего — из одного желания поиграть своей головой. Я не цеплялся особенно за жизнь, но и не пренебрегал ею, как второстепенной вещью. Меня всегда одолевало любопытство посмотреть, что же в конце концов выйдет из невразумительной штуки, названной моей жизнью.

Еще меньше меня можно было причислить к лбам. Невысокий и широкоплечий, только перебравшийся за тридцать годков, я по возрасту и по силе мог бы, пожалуй, занять местечко среди лбов. Зато мне недоставало других непременных кондиций. Лоб, в общем, вполне удовлетворен своим лагерным существованием. Он немыслим вне лагеря с его каптерками, кухнями, бесплатным кино и недорогими девками с большой пропускной способностью. На воле лоб сникает, он неспособен обеспечить себе самостоятельно сносное существование. На густо же унавоженной лагерной почве он расцветает, как ее естественное порождение. Доходяги лишаются последних сил, работяги вкалывают вовсю, придурки гнут спины в вонючих лагерных канцеляриях, лорды-начальники трудят мозги на производственных объектах — и все это делается, чтобы создать удобства лбам. Лоб шагает по зоне в одежде первого срока, повар черпает ему погуще и побольше, нарядчик не торопится гнать его на развод, культурник первому вручает талончик на новую кинокартину. Не сомневаюсь, что именно лбы придумали поговорку: «Кому лагерь, а кому дом родной!» Во всяком случае, они с вызовом бросают ее в лицо начальству — своему и приезжему, хоть и знают, что их за это не похвалят. Начальство почему-то обижается, когда лагерь сравнивают с родным домом, хоть дома иным зачастую хуже. Обычный его ответ исчерпывается угрюмой фразой: «Вы здесь не в санатории — понимать надо!»

Нет, я не был лбом, меня попросту дурно воспитали. Мать твердила мне в школьные годы: «Лакеев у тебя нет — убери за собой!» Я бездоказательно считал, что только заработанный собственными руками хлеб вкусен. И хоть до меня доходила лишь половина того, что я вырабатывал, я все же не был способен выдрать у другого изо рта недоданную мне часть. Три зверя грызли меня ежедневно беспощадными пастями, меня сжигали три жестоких страсти, абсолютно неведомые нормальному лбу — тоска по воле, тоска по женщине, тоска по жратве. Я знал, что на воле мне сегодня было бы, возможно, и хуже, чем в лагере. Там, на воле, меня заставили бы в конце концов и клеветать на соседей, и предавать друзей, и кричать при этом «ура!» по каждому поводу, а пуще без повода. Здесь же можно молчать и сохранять про запас чистую душу, честно трудиться и отдыхать... Все равно, там была воля, широкий простор на все стороны, земля без колючей проволоки, небо без границы — я бредил волей. А женщины мне были нужны не те, что нас окружали. Женщины садились рядом со мной в кино, томно толкали меня бедрами на разводе, брали меня под руку на переходе от зоны лагеря к заводской, намекали, что могут уединиться на полчасика в кусточки под заборчиком — женщины были кругом. Я же плотью и мыслью стремился к ЖЕНЩИНЕ. Они угадывали мое состояние, но не разбирались в нем. Они не могли предложить мне того, в чем я нуждался. Это было сильнее меня. Я не мог примириться с тем, что женщина не судьба, а отправление, нечто необходимое, но не чистое — хорошо помойся после свидания... Нет, пусть это будет на день, на час (над вечной страстью я сам первый посмеюсь), но это должен быть непременно поворот жизненного пути, слияние самого тебя с недостающей твоей половиной... Представляю себе, как хохотали бы наши лагерные подружки, если бы я вздумал при встрече в уединенном уголке излагать им эту забавную философию. Любовь они признавали лишь такую, которую можно взять в руки. Я мог, конечно, предложить им забаву для рук, но что было делать мне с моей душой?

Что же касается тоски по еде, то о ней много говорить не приходится. Я готов был в любом месте есть, кушать, жрать, трескать и раздирать зубами — было бы что...

Итак, я не годился ни в духарики, ни в лбы. Это мне стало ясно уже при первом знакомстве с лагерной жизнью. И мало-помалу у меня выработалось определенное отношение к тем и другим. Духарики, обычно худые и стремительные, с горящими глазами и истеричным голосом, казались мне просто больными — я старался их не задевать. А упитанных, всегда довольных собой, неумных лбов я презирал и не стеснялся высказывать им это в лицо. Я ненавидел их, как всегда ненавидит работящее смирное существо живущего его соками высокомерного трутня.

От одного из лбов мне стало известно, как же я сам теперь именуюсь по принятой в лагере терминологии. Это было перед утренним разводом. Я проснулся позже обычного и боялся, что не успею до выхода добыть еды. Очередь продвигалась быстро, но впереди меня стояло человек полста. И тут, отпихивая локтями задумавшихся, в голову очереди стал пробираться типичный лоб — здоровенный детина с носом в кулак и лбом в ремешок. Ему ворча уступали, а во мне вспыхнуло бешенство. Я нарочно выдвинулся в сторону, чтоб он меня задел. Он, не церемонясь, толкнул меня.

— Посунься, мужик! Ишь, ноги расставил! На лице у меня, видимо, показалась такая ярость, что он невольно попятился.

— Канай отсюда, гад! — не то прошипел, не то просвистел я. — Пропади пока живой, сука! Ну!

Секунд пять он колебался, соображая, стоит ли ради тарелки супа затевать драку, неизбежным концом которой будет суток десять ШИЗО, потом весь как-то уменьшился и осторожно отступил в конец очереди.

— Ну, и злой фраер пошел! — услышал я его оправдывающийся голос.

— Духарик? — недоверчиво поинтересовался кто-то.

— Не... Битый фрей!

Мне отпустили черпак супа, и, молчаливо ликуя, я прошел мимо посрамленного лба. Наконец-то я получил истинное признание. Я был именно «битый фрей», человек, умеющий постоять за себя, не «порчак», освоивший лагерный жаргон и лебезящий перед уголовниками. В этом определении «битый фрей» звучал оттенок уважения. Моя опасливая брезгливость к духарикам и презрение ко лбам было теперь закреплено в самом названии, припечатано словом крепче, чем сургучом.

Вскоре я, однако, убедился, что слишком уж прямолинейно, а следовательно, поверхностно толкую лагерные взаимоотношения.

С наступлением зимы количество невыходов на работу всегда увеличивается. Пятьдесят восьмая статья, всякие там шпионы, диверсанты, саботажники и агитаторы против советской власти и тут показывали свою двурушническую породу. Они плелись на производственные участки в пургу и мороз, их бросало в дрожь при мысли, что кто-то подумает, будто они способны отказаться от работы. И они припухали до черного отупения, вкалывали до последнего пота, обледеневали, но не уходили, пока их не позовут. Благодарность им за это доставалась одна и та же. Начальство хмурилось: «Вот гады скрытные — ведь враги же, а вид — будто всей душой за нас!» А бытовики и блатные издевались: «Втыкайте, пока не натянули на плечи деревянный бушлат! Спасибо получите — плюнут на могилку!»

Уголовники держат себя по-иному. Они не враги, а друзья народа, следовательно, никто и не ждет от них, чтобы они распинались для общего блага. Жизнь дана им только одна — они лелеют ее, скрашивая приправой отнятых у других благ. В плохую погоду приятней отлеживаться в тепле, чем дрожать в котловане. По количеству отказчиков лучше, чем по термометру и метеорологической вертушке, можно судить о градусах мороза и метрах ветра.

С отказчиками в лагере разговор непрост. Одних сажают в ШИЗО и силой выводят на штрафные объекты. Других «перековывают», пока отказчикам не надоест агитация или не улучшится погода. А третьим, самым опасным или «авторитетным», срочно раздобывают в медпункте освобождение от работы. По-настоящему лагерное начальство страшится лишь организованного коллективного невыхода, ибо в такие происшествия незамедлительно вмешиваются всегда нежеланные деятели третьего отдела.

И поэтому, когда Васька Крылов, известный всему лагерю бандит, объявил утром в своем бараке: «Дальше все — припухаем в тепле!» и его поддержали одиннадцать сотоварищей, начальство встревожилось не на шутку. Его пример мог пойти в плохую науку. Ваську со всей его «шестерней» тут же изолировали. Я прогуливался по зоне, когда их повели в кандей, как иногда называют в лагере штрафной изолятор, он же по-старому — карцер. Под охраной десятка стрелочков шли двенадцать уголовников, типичные лагерные лбы — откормленные, наглые, весело поглядывающие на встречных. Высыпавшие наружу лагерники дружелюбно насмехались над ними. «Ну, до весны!» — кричали им. — «Встретимся на том свете! Похаваете свой жирок, принимайтесь за кости». Шагавший впереди Васька Крылов — медведь, встретив в лесу такую рожу, пустился бы наутек — широко ухмылялся изуродованным ртом. «Отдохнем в санатории! — рявкнул он. — Айда к нам, кому пурга переест плешь!»

Двенадцать отказчиков водворили в рубленную избу ШИЗО, на двери навесили замок, а рядом поставили охрану. Специальной охраны для ШИЗО по штату не полагалось, но Ваську Крылова без охраны могли вызволить подчиненные воры, он был из «авторитетных».

Теперь, по мнению лагерного начальства, перековка шайки Крылова в работяг являлась лишь вопросом времени. Отказчикам выдавалась «гарантия», то есть основной паек без добавки за труд — шестьсот граммов хлеба и поллитра баланды в сутки. На такой кормежке в Заполярье и ребенок долго не протянул бы, а лбы ощущали врожденное отвращение ко всем видам диеты, кроме усиленной. «Голод почище мороза — смирятся!» — рассуждало начальство.

Однако день катился за днем, пошла вторая неделя, а «кодло» Васьки Крылова и не помышляло о смирении. Они хохотали в кандее так, что было слышно снаружи, устроили какие-то свои — без видимых карт — игры и требовали побольше угля для печки. Над трубой ШИЗО во все часы клубился густой дым — отказчики усердно заменяли пищевые калории тепловыми. Входивших нарядчиков и комендантов они встречали жалобной по содержанию, но веселой по исполнению песенкой, чем-то вроде саботажного гимна отказчиков:

Лучше кашки не доложь,

А от печки не тревожь!

Особенно усердствовал сам Васька. Его звероподобный рев заглушал репродукторы в зоне. Настроение у него было преотличное. Он продолжал петь, развалясь на нарах, даже когда командовали: «Встать!» А с тревожившими его покой лагерными «началами» разных калибров и рангов он толковал снисходительно и благодушно и не сердился, когда ему грозили уголовной ответственностью за саботаж. Только раз, при появлении в карцере полковника Волохова, начальника лагеря, Васька своей волей сполз с нар и, хотя не вытянулся в струнку, но и не поплевывал в потолок, и не начал объяснения с обязательного у него матового загиба.

— Чем же ты оправдываешь свое возмутительное поведение, Крылов? — строго допрашивал Волохов. — Почему отказываешься от работы? Когда, наконец, ты поймешь, что труд у нас дело чести, славы, доблести и...

— Геройства, — хладнокровно закончил Васька. — Так это же у вас, гражданин начальник, а не у нас. Я же вор в законе.

— Но товарищи твои честно трудятся.

— Не все, гражданин начальник, не все. Кто способен, тот вкалывает. А я, к примеру, на лопату и на кайло вовсе неспособный. Хотел бы, да не могу.

— Это еще почему?

— Семь раз больной, гражданин начальник: пайки мало, а двух не хватает.

Волохов поглядел на рожу Крылова, о которой в лагере говорили, что ее «за семь ден не обгадишь», и распорядился начальнику зоны Грязину:

— Постройте их силой и на бутовый карьер! Может, на свежем воздухе мозги у них немного прочистятся.

Крылов оказался достаточно благоразумным, чтобы не оказывать прямого сопротивления. Когда бригада отказчиков шла через зону на вахту, мы смогли убедиться, что тощая «гарантия», которой нас всех так пугали, изумительно способствует накоплению жирка. Не только сам Крылов, но и все в его «кодле» имели такой вид, как будто провели недельку у тещи на блинах. Они перемигивались с другими лагерниками и, хоть не кричали, чтобы не раздражать конвоя, но делали руками зазывающие жесты, — айдате, мол, к нам — не пожалеете!

Погода в тот день выпала свеженькая — мороз в сорок градусов и ветер метров около десяти в секунду: Как отказчики провели день на бутовом карьере, мы не знали, но вечером стало известно, что ни один не притронулся к инструменту. Привели их обратно уже после развода, и коменданты постарались, чтобы никто не попался навстречу.

Начальство не хуже нас понимало, что упрямство отказчиков поддерживается отнюдь не «гарантией». Коменданты теряли силы в поисках пищевых ручейков, тайно просачивающихся в карцер. Буханки хлеба, приносимые из каптерки, пронзались штыками, чтобы обнаружить запеченное в тесто более существенное нутро. В ведре баланды, доставляемой из кухни, болтали черпаками не только охранники, но и старшие по вахте, и даже, — в один из дней — начальник нашей зоны Грязин. Хлеб был как хлеб — сырой и землистый, баланда вполне оправдывала свое название — жиденький пшенный суп с селедочными головами. Ровно через десять минут после того, как ее вносили в кандей, дым из его трубы становился черным и отвратительно пахнул селедкой. Заключенные, пробегавшие по зоне, останавливались и, ухмыляясь, бормотали:

— Печку заправляют баландой, чтоб аппетиту не портила. Ну, лбы!

На исходе второй недели забастовки лбов Мишка Король принес в наш барак потрясающую новость.

— Начальство точит новое оружие против Васьки. Ни штыком, ни приказом их не взять. Завтра на Васькино кодло напустят духарика!

Сенька Штопор, мой сосед, заменивший на нарах ушедшего на волю дядю Костю, усомнился:

— Нет у нас в зоне духарика против Васьки. Может, ты пойдешь выводить?

— Зачем я? — возразил Мишка. — Один на один я бы еще попробовал на Ваську, а их двенадцать.

— В том-то и штука, что двенадцать, — спорил Сенька. — И у них ножи закованы, а у Васьки — топор в глухой заначке. Попки три раза шмон устраивали, да куда — мимо слона пройдут, не заметят.

— Ножи у них есть, — согласился Мишка. — И топор заначен. Только завтра им хана — из Дудинки Сашка Семафор прибывает. Этот их всех передухарит.

С Сашкой Семафором я тогда еще не был знаком, но слыхал о нем много. В нашем лагере он являлся, вероятно, самым «авторитетным» среди уголовников. Это, и вправду, была яркая личность. Недоучившийся студент, он еще в институте связался с ворами, встал во главе большой шайки и, как матерно божились все его знавшие, совершил среди бела дня потрясающее по дерзости ограбление областного банка. Любое слово его звучало приказом для уголовников, любое желание становилось законом. Впоследствии он служил старшим комендантом нашей зоны, и мы с ним иногда встречались и разговаривали. К сказанному надо добавить, что он был строен и красив своеобразной женственной красотой, почти никогда не ругался и никого не «брал на оттяжку». Отбывая срок, он дважды уходил в бега, переодетый в женское платье. В последнем побеге он дошел до того, что, занимая каюту на пароходе, гулял по палубе и снисходительно принимал ухаживания пассажиров, интересовавшихся миловидной и умной девушкой. Если бы Семафор случайно не наткнулся на хорошо знавшего его человека, он беспрепятственно добрался бы до Москвы, а там не так уж тяжело потеряться ловкому вору.

Разумеется, на другой день я принял меры, чтобы увидеть собственными глазами, как будут выводить отказчиков на работу. Это было не так уж сложно — я передал в цех, что выйду в вечернюю смену, а с утра назначен получать в каптерке новенькую телогрейку. Подобное оправдание в глазах любого начальника являлось веским. А что вечером придется отправиться на работу в старье, меня не очень смущало — лишь немногим, кому полагалось новое обмундирование, удавалось им разжиться, если они пропускали первый день выдачи. Это как раз и произошло со мной. Во всяком случае, неполученная телогрейка первого срока частенько выручала меня, когда не хотелось рано вставать или шли слухи, что днем привезут свежую кинокартину.

Утренний развод в нашей зоне тянулся обычно с шести до девяти часов. Вначале уходили строители, потом шахтеры и рудари, за ними мы — металлурги и лагерная интеллигенция. До половины девятого я дремал на верхней наре, прослушал последние известия, позавтракал и вышел наружу. ШИЗО было окружено вохровцами. Коменданты и нарядчики плотной кучкой стояли в достаточном отдалении от запертых дверей. Знакомый нарядчик поманил меня:

— Интересуешься?

— Конечно.

— Становись со мной, чтоб не прогнали. Сейчас Сашка пойдет.

Вскоре из конторы вышел начальник нашего лаготделения Грязин в окружении вохровских офицеров и чинов из третьего отдела. Среди них вышагивал — несмотря на мороз, в одной черной телогрейке — незнакомый мне быстрый, худощавый парень.

— Сашка! — шепнул нарядчик. — Что будет!.. Я не отрывал глаз от Семафора. Он мало отвечал укрепившемуся во мне представлению о духарике, как развинченном, шебутном, почти полоумном существе, всегда хмуром и дерзком, всегда готовым дико завопить и, бешено вращая глазами, кинуться с ножом на нож. Саша Семафор был подтянут и четок, весел и ровен. Он остановился перед нашей кучкой и, улыбнувшись, протянул руку одному из нарядчиков.

— Здравствуй, Петя. Год не виделись. Как твоя язва желудка? Что-то не похож на больного.

— Выздоровел, Саша, — сказал обрадованный вниманием нарядчик, — Посадили за одно дельце на месяц в ШИЗО — с голодухи начисто сожрал проклятую язву, и операция не понадобилась.

К Семафору подошел озабоченный Грязин.

— Все подготовлено, Саша. Может, еще чего надо?

— Нет, ничего, — сказал Семафор. — Как договорились, замок снимают сразу, но двери отворяют лишь по моему приказанию.

Охрана отомкнула замок и вытащила засов из петель. Два вохровца держались за половинки дверей, готовые распахнуть их по первому сигналу. Семафор подошел к изолятору и постучал кулаком в дверь. Было так тихо, что мы услышали, как внутри заворочались и заворчали люди.

— Васька! — крикнул Семафор звонким высоким голосом. — Узнаешь меня? Это я, Сашка Семафор. Явился по ваши души!

В ответ раздался нестройный мат. Не было сомнения, что Семафора узнали. Потом шум в кандее притих, и оттуда донесся бас Крылова:

— Явился, так заходи. Посмотрим, где душа у тебя!

— Васька, — продолжал Семафор. — Значит, так. Есть сведения, что у вас пять ножей и один топор — утаили при шмоне — правда?

И опять загрохотал голос Васьки Крылова:

— Да двадцать четыре кулака. Тоже не забывай.

— Значит, так! — кричал Сашка. — Договоримся по честному: ножи и топор сдаете, а сами айда на работу. Даю две минуты на размышление.

Новый взрыв мата продолжался не менее минуты.

— Ножи и топор вынесут в твоем теле! — ревел Крылов. — Только переступи через порог, сука!

Сашка Семафор быстро переглянулся с бледным Грязиным и закричал, напрягая свой негромки голос:

— Правильно, Вася! Вы меня ухайдакаете, точно. Но раньше я троих завалю! Троих ложу я, остальные рубят меня. Ты меня знаешь, Васька, и все вы меня знаете. Слово Сашки Семафора — камень! Вы слышите меня, ребята? Троих — я, остальные — меня. Через минуту вхожу!

На этот раз из ШИЗО не донеслось ни шороха. Саша сделал знак вохровцам и выхватил из внутреннего кармана телогрейки длинный, как кинжал, нож-пику, так называют такие ножи в лагере. Все это произошло одновременно: стремительно распахнулись двери, пронзительно сверкнул нож, и яростным голосом Семафор крикнул:

— Готовься, первые трое!

Он ворвался в карцер, занеся над головой «пику», а все мы непроизвольно сделали шаг за ним, хоть никому из нас нельзя было переступать порога: вохровцы и начальство входят в зону без револьверов и винтовок. Нарядчики и коменданты и подавно ничем не располагают, кроме кулаков: оружие это мало годится для битвы с двенадцатью вооруженными бандитами.

Удивительная штука психика: как только Семафор перепрыгнул через порог, нам всем услышались дикие вопли, стук падающих тел, звон сталкивающихся ножей. Уже через три секунды мы поняли, что это обман чувств: в изоляторе было могильно тихо.

Мы стояли окаменев, не дыша, и еще раньше, чем в легкие наши ворвался непроизвольно задержанный воздух, из ШИЗО стали выходить люди. Впереди четко шагал побледневший, но улыбающийся Семафор, за ним опустивший голову Васька Крылов, и — гуськом за Васькой — вся его бражка отказчиков. В руках у Васьки вихлялся топор, другие отказчики держали ножи. Васька бросил топор к ногам Грязина, ножи отобрали вохровцы. Семафор стал рядом с Грязиным и смотрел, как коменданты строят отказчиков в колонну для вывода на работу.

Грязин, ликуя, ударил Семафора по плечу. Тот засмеялся.

— Восемь ножей было у ребят, — сказал он, — Разъясните вашим вохровским Шерлок Холмсам, гражданин начальник, что они задарма едят казенный хлеб.

— Не восемь, а девять, — поправил Грязин ласково. — Ты забыл о своем ноже. Тоже придется сдать, Саша.

— Ах, еще мой! Лады, раз надо, так надо! — Семафор полез во внутренний карман и достал оттуда крохотный ножичишко, примерно с треть его боевой «пики». — Вот он. Получайте в натуре.

Грязин покачал головой.

— Это не тот, Саша.

— Как же не тот? Обыщите, если не верите! — Семафор с готовностью выворачивал свои карманы. — Или прикажите вашим сыщикам из вохры устроить вселенский шмон. Эти постараются.

— Постараются! У двенадцати бандитов не нашли, у тебя найдут! Не думал, что ты считаешь меня таким дураком.

Семафор выразительно пожал плечами, показывая, что говорить больше не о чем.

Спустя некоторое время, когда мы поближе познакомились, я напомнил Семафору об усмирении давно уже к тому дню расстрелянного за убийства Васьки Крылова.

— Объясните мне, Саша, вот что, — сказал я. — Откуда эта шайка брала еду? Ведь ясно, что они не сидели на «гарантии».

— Нет, конечно. Они столовались, будьте покойны — сало, мясо, сахар, одних тортов не хватало.

— Но как же это ускользало от глаз охраны? Ведь еду надо было проносить в карцер.

— А как от них ускользнули ножи и топор? Их тоже приносили снаружи. Попки, чего от них требовать! Повара знали, что, если они не накормят Ваську с его кодлом, нож в брюхо им гарантирован, как только те выйдут из кандея. Специально для таких дел имелось ведерко с двойным дном: вниз кладется что посытнее, а на второе дно наливается баланда — мешай ее черпаками, пока не надоест.

Я подумал и еще спросил:

— А почему вы не наказали поваров, когда узнали об их мошенничестве?

Он удивился моей непонятливости:

— А зачем мне их наказывать? Я не начальник лагеря, за воровство на кухне не отвечаю. И к чему? Это ведерко могло и мне при случае пригодиться. Никто из лагерных комендантов не гарантирован от штрафного изолятора. Вы думаете, я мало сидел в кандее?